

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Словосочетание «казенный дом» уверенно отсылает нас к блатной лирике, к «небу в клеточку» и поговорке «от тюрьмы и сумы». Но если взглянуть чуть шире, любой не родительский и не родственно-дружеский дом для ребенка — это и есть дом казенный, и пребывание в нем вне домашнего тепла — это и есть опыт неволи и сиротства, пусть и временного.

Все советские и постсоветские дети так или иначе столкнулись с феноменом «казенного дома», у всех есть воспоминания о детском саде или о пионерском лагере, а для некоторых, увы, казенным домом стала школа.

Взрослые, склонные к рефлексии, тем или иным способом изживают в себе детскую травму сиротства, в том числе описывая свои чувства, сомнения, страхи. Для некоторых же авторов сборника опыт казенного дома оборачивается опытом обретения свободы, опытом осмысления себя в предлагаемых обстоятельствах, чаще всего вполне ужасных, а смутный детский протест во взрослом возрасте превращается в уверенность в том, что человек не должен так жить.

Читатель, вовлекаясь в эту стихию, может сопереживать, сравнивать свои собственные переживания с теми, которыми щедро и откровенно поделились авторы сборника, увлекаться разнообразными сюжетами и жизненными коллизиями, смеяться вместе с теми, кто смеется над собой. Любое осмысление прожитого всегда полезно и увлекательно. Увлекательно еще и потому, что, несмотря на почти классицистское единство действия (мест действия в этих рассказах, строго говоря, три: детсад, пионерлагерь, больница), моделей поведения оказывается очень много, повороты сюжета тоже часто бывают неожиданные, иногда прямо-таки детективного свойства. И, конечно, очень интересно сравнивать, как разные люди по-разному реагируют на один и тот же вызов, спектр чувств — по всей шкале.

Послесловие к сборнику написала Елена Вроно, известный психиатр и подростковый психотерапевт, ежедневно сталкивающаяся в своей врачебной практике с драмами, выросшими в том числе и из разного рода казенных домов.

Ирина Головинская

ЖЕНСКАЯ РАЗДЕВАЛКА КЛУБА «ПЛАНЕТА ФИТНЕС»

Общего ничего, кроме тепла и шерсти,
Одинаких ключей и девяти отверстий,
Наполняемых чем? влагой, сладью, говном;
Накрываемых ртом; закрываемых сном.
Выпекающих: кровь, слезы, детей и серу.
Окружающих: суть или чужую плоть.
О девяти своих я захожу и села
Снять. Постояла быть. И направляюсь плыть.
Розовы и желты, крупные как младенцы,
Гольшом — нагишом — по уши в полотенце —
Стайки деводерев пересекают пол.
Каждое входит в душ, томно склоняя ствол.
Нужно, как виды вин и сорта куропаток,
То ли классифици, то ли полюбопы:
Вот пластины ключиц; вот паруса лопаток.
Нужно занести в реестр каждый подъем стопы.

Скоро таких не станет. Скоро доставят смену.
Здесь перетянут бархат, там перестроят сцену,
На сочетанье кости, кожи и черных кос
Будут дивиться гости, не пряча слез.

Впрок молодой-красивый
Или дурной-хороший
В детском саду играет:
Трогает твою сливу,
Причащается груше,
Воду ртом собирает:
Безсвязная, резная наследует зима,
И брата не узнает животное ума.

Этот столб водяной может стать ледяной,
Разум заразой и воздух газом,
Голубки-Любки сомкнутою стеной
Замаршируют по лабазам.
И дверь, что открывалась на плавательный куб,
Откроется на малость, как zipper на боку.
И выступим из тапок, коронок и часов,
Из соположенных тряпок, ногтей и голосов.

И в ноздри, рты и уши, как с чайника дымок,

Толпой повалят души,
Сорвавшие замок.
Но, как в школе лесной, все же шумит излишек
Кремов, уст и волос, мышц и подмышек.
Автозагар и стыд, словно лисицы нор,
На поверхность тела глядят в окуляры пор.
Но, как в скотском вагоне, где в тесноте и матом,
Бродят квадраты пара и долгий вой,
Непреступное, небо становится братом.
И кто-то поет в душевой.

В пионерлагерях, в синих трусах июля,
То упираясь, то поднимая флаг,
Первое я, насупленное, как пуля,
Делает первый шаг.
И хмуря пейзаж, как мнут в кулаке бумагу,
Почти небесами гляжу на него. И лягу,
Как та шаровая молния, на поля —
В один оборот руля.

ЛЕТО В ПРЕКРАСНОМ ОБЩЕСТВЕ

ВЫХОД

Я знаю одного очень яркого человека, моложе меня лет на двадцать пять, который время от времени вспоминает о пионерском лагере «Артек» с ностальгической нежностью. Я в «Артеке» не была, меня посылали в заводской подмосковный лагерь, расположенный в чудесном месте, в Рузе, на берегу реки. Но у меня вертится на языке вопрос: а что там в «Артеке» было с сортиром?

По этой части я не была избалованным ребенком, жила в коммуналке — на семь семей одна уборная, — где по утрам выстраивалась очередь к унитазу. Соседи с личными сиденьями, хранящимися в комнате, стояли в унылой, но нервной очереди. Нетерпеливые пользовались ночными горшками на собственной территории.

Но когда я, неизбалованная, впервые попала в пионерский лагерь летом 1953 года, я испытала настоящий шок, зайдя в длинное строение с восемью очками на общем постаменте, захлебнулась от запаха. Глаза защипало. Поначалу это был запах благородной хлорки, но уже на второй день хлорки было не видеть, она приобрела охристый оттенок, и воняло теперь покрепче.

Войти туда заставить себя я не смогла. Участок лагеря был большой, можно было найти укромное место под кустиком или перелезть через забор и затеряться в лесу. Но днем это делать было сложно: ходили строем — то на линейку, то на речку, то в столовку. На третий день, когда терпеть было невозможно, поздно вечером я вышла из палаты и шмыгнула к забору. Он был низкий, перелезть не трудно, тропинка вела в овраг, к ручью, и там было сколько угодно укромных кустиков, даже больше, чем нужно. Было страшновато. Но страх я преодолела, потому что бывают вещи и поважнее страха. Проскользнула я обратно в палату и, счастливая, уснула. С тех пор я практиковала ночные вылазки почти ежедневно.

Однако возникло некое препятствие: на терраске, которую надо было миновать, по вечерам стали собираться наши вожатые. Они за первые же дни сдружились, зароманились и сидели до позднего часа. Часов, замечу, ни у кого из них не было. Знали: поздно, очень поздно, совсем поздно.

Но выйти было очень уж нужно, и я нашла выход. Он был окно. Спальня наша человек на двадцать, под окном

вплотную стоит кровать, на ней девочка со странным именем Юзефа, как потом выяснилось, из семьи польских коммунистов, сбежавших в свое время в СССР. Она вроде спит. Препятствие. Второе препятствие — высота. Мы не совсем на первом этаже. Но и не совсем на втором. Называется бельэтаж. Высокий первый. Но очень хочется. Я стою возле Юзефиной койки, а она глаза открыла и спрашивает: ты чего?

Я, интеллигентная девочка, говорю: мне по-большому надо.

Она тихо спрашивает: в уборную пойдешь?

— Нет, говорю, в лесок.

— Возьми меня с собой.

— Да я вот и смотрю, нельзя ли в окошко вылезти?

— А в дверь? — спрашивает Юзефа.

— Нет, на террасе вожатые сидят.

В ту ночь я не решилась в окошко вылезти. А на следующую так приспичило, что я выпрыгнула. Обратно влезать оказалось легче, Юзефа руку протянула. Я влезла — она вдруг заплакала:

— Тебе хорошо, а я в уборную не могу войти, а спрыгнуть боюсь...

Прошла неделя, вожатые куда-то ушли, на терраске никого не было, и я повела трясущуюся Юзефу в обжитой лесок. Удивительным образом он оставался чистеньким, несмотря на мои почти ежедневные посещения. Я тогда еще не настолько была увлечена биологией, чтобы понимать, что в природе ничего не пропадает и говно человеческое для чего-то годится...

Усадила я Юзефу под кустик, а она заплакала:

— Так я тоже не могу. Я вообще не могу. Я умру...

Но Юзефа не умерла. За два дня до конца смены она потеряла сознание, и ее увезла «скорая помощь» в Рузскую больницу. Там ей сделали операцию. Выжила. Мне потом папа рассказал, что ее спасли русские врачи от кишечной непроходимости. Такие врачи хорошие!

Но я только подумала — врачи хорошие, а уборные плохие. Но ничего не сказала. Взрослым такое не объяснишь! А вот сейчас мне интересно: а в «Артеке» какие уборные были?

И еще могу сказать, что я как Синявский: только у него с советской властью расхождения были стилистические, а у меня обонятельно-гигиенические.

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В ПРЕКРАСНОМ ЖЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Последнее дошкольное лето я провела в самом настоящем пионерском лагере. Из-под кровати достали потертый чемодан, между прочим, довольно породистый, купленный в мирные времена у Мюра и Мерилиза (этикетка, подтверждающая его генеалогию, сохранилась на внутренней стороне крышки), осенью 1913 года сопутствовавший дедушке с бабушкой в свадебном итальянском путешествии, побывавший во всех тех местах, где они оказывались на протяжении последующей жизни, а в 1943 году благополучно вернувшийся из эвакуации. И на крышке многое претерпевшего и в процессе жизни опростившегося семейного чемодана папа вывел масляными белилами имя мое и фамилию.

В чемодан уложили купленные по специальному списку совершенно особенные пионерские вещи (каждый предмет старательно подписали чернильным карандашом), и в назначенный день с небольшим опозданием мы явились на сборный пункт, к подъезду маминого института. Оказалось, что всех пионеров уже погрузили в грузовики. Снизу не было видно, ни кто они такие, эти пионеры, ни сколько их там. И меня тоже принялись подсаживать в этот неведомый, полный гвалта кузов. Окоченев от ужаса, я попробовала было вцепиться в борт грузовика, как-то туда вскарабкаться. Безуспешно. И вдруг на фоне сияющего июньского кучевого облака возник ангельский лик.

В ореоле белой панамки, наподобие того, как утреннее светило восходит над горизонтом, над серым деревянным бортом грузовика взошла приветливая физиономия большой девочки в круглых очках и красном галстуке. Девочка гостеприимно улыбалась и протягивала руку, которую я судорожно схватила. И в следующий миг очутилась в кузове. Не замеченная пионерами, затерялась в толпе и успокоилась. Девочка-ангел оказалась дочерью начальницы пионерского лагеря, маминой сослуживицы — доброй красавицы Марии Борисовны. Верочкину доброту я запомнила, и спустя сорок лет очень обрадовалась, обнаружив совсем уже взрослую Веру среди сотрудников солидного литературно-художественного журнала.

Тем первым пионерским летом я впервые узнала, как прекрасно может быть женское сообщество, если не заражено оно микробом недоброжелательного соперничества. Меня, еще дошкольницу, приняли в свою компанию и взяли под защиту три больших и всеми уважаемых девочки. Суровая сероглазая красавица Оля Никонова стала нашим лидером. Могучая и добрая Лена Миронова — душой компании. А стараниями Ирки Зыриной, смелой и предприимчивой авантюристки, лагерная жизнь стала увлекательной, разнообразной и не лишенной некоторого риска. Я выступала в роли восторженного наблюдателя и восхищенного ученика, изумлялась талантам подруг и впитывала их жизненный опыт. Нет, свою лепту я, конечно, вносила, ведь в запасе у меня имелось множество диковинных историй. Мы с няней моей Аней гуляли в обществе других детей и их нянек в скверике у подножия Института иностранных языков. Бывало, копошусь возле скамейки, на которой плотным рядом сидят тепло закутанные в любую погоду няньки, вроде бы куличи леплю из песка или из снега, а сама слушаю, слушаю, на ус наматываю... По сути, рассказы те были предтечей и живой моделью бразильских сериалов далекого-далекого будущего, то есть прогулки на «иностранном» скверике оснастили меня бездной сюжетов на всю последующую жизнь. Ну как было при таком бэкграунде избежать амплуа рассказчика? Короче говоря, польза кое-какая от меня была, но мне-то повезло несказанно, потому что с легких детских рук Оли, Лены и Иры во всех возрастных и социальных группах мне всё встречаются и встречаются женщины замечательные — мудрые, могучие, талантливые.

В течение дня жизнь в лагере напоминала дачную, вот только утро начиналось побудкой и пионерской линейкой с поднятием флага на мачте. На прямых, не сгибающихся в коленях ногах пионерские вожаки вышагивали по периметру плаца, резко разворачивались под прямыми углами, с пластикой механических человечков вскидывали руку в пионерском салюте и звонкими голосами людей с кристальной, но и безжалостной совестью о чем-то рапортовали. Боже, как мне нравился этот ритуал!

Счастливцев, вызванный из рядов для утреннего поднятия флага, до самого вечера находился в приподнятом настроении. Я страстно мечтала об этом счастье, но, когда звездный час наконец-то настал, то ли от волнения, то ли от смущения не справилась с простейшим устройством,

колесиком и шнурком — блоком, посредством которого флаг ежеутренне взвивался в синюю или пасмурную высь.

Вечерняя линейка отличалась от утренней отсутствием пафоса и невообразимым количеством комаров. Небо зудело и звенело, а выстроившееся в каре окровавленное лагерное поголовье извивалось, чесалось, подпрыгивало и хлопало себя по частям тела в дерганных ритмах недалекого будущего. На дворе пока стояла другая эпоха, и мотивчиком того лета был томительный фокстрот «Я помню, было нам семнадцать лет...», а мне-то до семнадцати было еще жить и жить...

Лагерная униформа — черные, поначалу поблескивавшие крахмалом и красиво топорщащиеся сатиновые шаровары, короткие и пышные — дневные и уютные длинные — для прохладных вечеров, пришлась мне по душе (особенно короткие, они казались мне нарядными и даже торжественными, хотя я тогда не знала, что это самый выразительный элемент мужского костюма эпохи Ренессанса).

Но не все было так уж пасторально, изрядно отравляло жизнь ежедневное мероприятие под названием «мертвый час». Конечно же, мы ни минуты не спали, развлекались как могли, скрашивали два часа пропащего для жизни времени. Молниеносная Ирка Зырина виртуозно ловила мух в полете. В литровой Иркиной банке они жили сотнями. Ирка заботилась о своих мухах, запихивала в банку кусочки подсахаренных блинов, унесенных с полдника, капала из пипетки воду, перевязывала баночную горловину марлей. Отмучившись во время злосчастного часа, мы делали все, что хотели. Разгуливали по окрестностям, обследовали заросшие окопы (а может, это были воронки от бомб), объедались малиной, устроили штаб-квартиру в заброшенной лесной бане, а однажды обнаружили заколоченную колокольню посреди лесного болота, кое-как протиснулись внутрь и по эфемерной лестнице без половины ступенек вскарабкались на самый верх. Во время этого рискованного мероприятия я умирала от страха, но отстать от бесстрашных подруг, остаться одной внизу было еще страшнее. Гуляли мы где хотели, распевали что хотели, возвращались к ужину, и о приключениях наших никто не догадывался. А мы ничего и не боялись, потому что система наказаний в нашем чудесном лагере отсутствовала.

Интереснейшим местом оказалось кладбище за лагерным забором. Лесное, на крутом речном склоне, многоярусное и перенаселенное, с теснящимися, наползающими друг на друга

пирамидками и крестами, с тонко позванивающими жестяными венками на сосновых ветвях, таинственное и торжественно-нарядное. К тому же на могилах росла земляника небывалого качества, та самая, которой крупнее и слаще нет. И однажды, в преддверии родительского дня, мы решили набрать этой гигантской земляники для родительского угощения. Взяли синие жестяные ведерки (видно, предполагалось, что младшие пионеры любят лепить куличики из песка) и очень быстро, с полчаса побродив среди могил, наполнили их доверху. А вечером, не удержавшись, съели ягоды сами.

И ночью в животах наших началось ужасное. Мы корчились от колик и стонали. Палата не спала и с интересом наблюдала за нашими мучениями. Всем было ясно, что мы отравились трупным ядом. Азартно спорили об исходе — совсем смертельном или не очень. Мы плакали и представляли себе, что будет, когда наутро родители наши не застанут нас в живых. Однако все обошлось, к утру мы оклемались, вот только родителям ни одной ягоды не досталось.

Апофеозом каждой из трех пионерских смен становилась военная игра, предтеча «Зарницы». Сюжет игры был прост и актуален — ловили шпиона, похитившего знамя пионерской дружины. Пионеры делились на желтых и голубых (в середине 50-х никакие цвета и никакие сочетания еще не были дискредитированы) и нашивали на плечи соответствующего цвета бумажные погоны. Знамя нужно было найти прежде, чем это сделает противник. Шпион прятал знамя в лесной чаще и для того, чтобы его все-таки нашли, оставлял не только следы, но и прямые указания, где искать. Коварный шпион вырезал стрелы на стволах деревьев, выкладывал их на лесной дороге из коры и сосновых шишек, вырезал в форме стрелы шляпки крупных подберезовиков, короче говоря, дурил пионеров. В процессе поиска следовало собирать вещественные доказательства. Мы приносили в штаб все, что находили в лесу: обрывки газет, бутылки из-под пива, какие-то перезимовавшие под снегом мерзостные клочки подозрительного вида (справедливости ради надо заметить, что в те времена подмосковные леса еще не были загажены так, как нынче, и в заводе не было полиэтилена и прочей синтетики).

Однажды нашли свежий, еще не слипшийся презерватив. Не догадываясь о назначении предмета, но подозревая, что вещь самая что ни на есть мерзостная, шпионская,

превозмогая брезгливость, нацепили улику на ветку и несли ее по очереди, отставив руку подальше, и благополучно доставили в штаб. Командиры наши — старший пионервожатый, председатель совета дружины и физрук, ражие румяные хлопцы, — отнеслись к находке несерьезно и от смеха только что со стульев не попадали. Мы же почувствовали себя оскорбленными в патриотических чувствах.

Если в процессе поиска знамени попадался противник, следовало настигнуть его, не миндальничать, а повалить на землю, слегка поколотить и сорвать погоны. Один сорванный погон означал ранение, два — гибель. Игра длилась весь день, вместо обеда выдавали сухой паек, мертвый час отменяли. Целый день ошалевшие дети бегали по лесу и люто ненавидели противника. Занятие увлекательное, удивительно только, что ничего плохого ни с кем из нас ни разу не приключилось. Зная к концу дня находилось само, а шпиона некто из штаба доставлял на погранзаставу. Где именно в подмосковных Бронницах располагалась эта погранзастава, так и осталось тайной.

У всех пионеров имелись продовольственные запасы. Раз в неделю из Москвы приезжал грузовичок с передачами. Дети сбивались в кучу у откинутого заднего борта, и некто из кузова зычно выкликал фамилии и раздавал перевязанные бечевкой бумажные пакеты. Не скрою, я завидовала, потому что мне передач не присылали. Пакет с яблоком, калорийной булочкой и помидором папа ежевечерне просовывал сквозь планки лагерного забора, потому что на всякий случай родители снимали угол в соседней деревне Плаксинино. Надзор их был необременителен, фактически незаметен, родители существовали на периферии, и я, как и все остальные, ночами чавкала, жевала и заглатывала содержимое папиного пакета. Ибо трапезы наши были ночными и только ночными, и отдельные везунчики, обладатели сахарного песка в бумажных пакетах, допоздна хрустели им на всю палату. А днем делали заготовки впрок. Популярностью пользовалось лакомство, для приготовления которого требовалось всего лишь: найти на кладбище зеленую бутылку из-под вина, наполнить ее любыми лесными ягодами, засыпать сахарным песком, туго утрамбовать с помощью очищенной от коры палочки, закопать в укромном месте, затаиться и выждать десять дней. Употреблять этот нектар (смешанный с амброзией) следовало при помощи той же палочки, многократно засовывая ее

в бутылку и смачно облизывая и обсасывая. У меня не было ни бутылки, ни сахарного песка, так что о таком деликатесе я и не мечтала. И кайфа от всеобщего любимого лакомства — эскимо на палочке, слепленного из куска блестящего вара, не словила, совсем наоборот... Однажды подруги мои обнаружили на задворках пионерского лагеря глыбу вара, сверкавшую на сколах как антрацит. Не откладывая в долгий ящик, принялись отколупывать от глыбы куски, лепить подобие эскимо, и с восторгом лакомство это жевали. Слепили такую штуку и мне, и я с радостной готовностью неопита впила в псевдо-эскимо зубами. Впила и — о ужас, разжать челюсти не смогла, увязла в жуткой субстанции. Не знаю, впадает ли в панику бульдог, если не может разжать мертвую свою хватку, но я запаниковала. Спасибо подругам, совместными усилиями челюсти мои кое-как разжали, но ощущение ужаса так никуда и не делось.

То самое первое лагерное лето оказалось исключительно насыщенным и информативным. Разве узнала бы я столько важного, интересного и полезного на деревенской даче под сенью нянюшки моей Ани? Разве испытала бы прекрасное чувство свободы, открывшееся во время наших прогулок по лесам, полям и опушкам? Разве появились бы у меня такие надежные, искушенные в жизни подруги? Я прибыла в лагерь одним человеком, а покинула его совсем-совсем другим, жаль только, что тем летом завершилось мое дошкольное детство и долгие годы все последующие августы омрачали грядущие сентябри, неотвратимость школьного морока, навсегда отравившего детский организм серой плесенью и мучнистой росой...

ЗДЕСЬ НИКОГО НЕТ

«Каждый ученик... обязан иметь собственный мешок
с лямками, на каждого — по мешку»

Саша Соколов, «Школа для дураков»

Самые ранние воспоминания о моих детсадовских дачах — не мои. Мама рассказывала, что когда они с отцом приехали меня навещать, воспитательница сказала: «Заберите ее. Некоторые дети плачут, а она стоит у решетки и смотрит на дорогу. И молчит, не плачет. Заберите». И меня забрали.

Другие воспоминания о том же возрасте — зеркальные. На этот раз они мои, но не обо мне, а о дочери. Мы приехали ее навестить, и нам по благу — так тогда говорили — выдали ее, чтобы мы могли с ней погулять в лесу. А благу заключался в том, что мы обещали потом подбросить воспитательниц до Москвы на машине. На прогулке дочь сказала: «Здесь такой чистый воздух». Ей было три года. Мы приехали на следующей неделе, и она опять повторила: «Здесь такой чистый воздух». Тогда я решила на всякий случай приехать через день. И опять — «здесь такой чистый воздух». А ей три года. В тот же день мы ее от этого воздуха забрали.

Она была очень радушная, открытая девочка, и сейчас такая — последнюю рубашку отдаст. А в тот день, после детсадовской дачи, мы дали ей конфет и сказали: «Угости всех». Она обвела комнату глазами — а там были мы, мой отец и мой брат, еще маленький. И она сказала: «А кого? Здесь никого нет».

ЧЕМОДАН С ЗАЙЦЕМ

А вот эти воспоминания мои и обо мне самой. Поездка в лагерь началась с того, что достали с антресолей мой чемодан. Он был небольшой, горчичного цвета, назывался «желтый». Его заполнили «лагерными» вещами — вещами для лагеря. Серые сандалии в дырочку, вторая пара — первая была у меня на ногах, только коричневая. Серые ботинки на шнурках и резиновые боты, на дождь. Такие сандалии и ботинки мне покупали каждый год в конце лета, на школу. К июню у них были облупленные носки. Ремешок в том месте, где его перегибала застежка, почти отрывался. Я все детство мечтала о красных ботинках, но отец говорил —

«вульгарно», поэтому покупали либо бежевые, либо серые, других не бывало. Бот обычно хватало и на два года, их брали на вырост. Сначала в них неудобно было сгибать ноги, слишком высокие боты терли под коленкой. А потом ноги вырастали, и боты становились — ничего.

Еще в чемодане были любимые шорты, помнящие Коктебель, две пары, и какая-то другая одежда. Шорты надеть удалось только один раз, меня засмеяли, и я больше не решалась. Зато ободранные сандалии напоминали о доме — ведь все царапины появились еще до лагеря. Я их перебирала в памяти, как дорогих друзей.

На чемодане отец нарисовал зайца в профиль. Это был наш общий заяц, отец его здорово рисовал, и меня учил, каждый раз что мы ехали в метро. Обычно он рисовал чертежи лазеров и автопилота для самолетов, это была его специальность. Чтобы ему самому было понятно, он мне объяснял, как они действуют и что в них нового. При этом объяснял, что никому этого нельзя рассказывать. Так что я лет в семь-восемь оказалась носителем секретов советской военной техники, которую он конструировал. Он был гениальный популяризатор, я могу и сейчас рассказать действие автопилота, если кому надо. Но для меня он еще нарисовал и зайца. Зайцев я теперь тоже рисую, когда размышляю или сижу на скучном мероприятии и слушаю ненужное выступление. У меня весь лист в этих зайцах, я умею рисовать только их и парусный корабль. И еще схему автопилота, конечно.

На чемодане заяц был большой, это чтобы сразу найти чемодан, сказал отец. Да такой желтый чемодан разве потеряешь.

БУРНУС И ПАНАМА

Из ценного и личного у меня были фонарик и книга про греческую девочку. Еще мне купили панаму, она мне очень нравилась. До этого у меня панамы почему-то не было, хотя лето я проводила в Крыму. Но когда у меня обгорели уши, отец надел мне на голову мои собственные трусы и сказал, что это бурнус. Ну раз бурнус, а не трусы, то можно ходить. Мы все равно жили как дикари, в палатке, питались сырыми яйцами с хлебом. Такое блюдо называлось тюря. Сказать, что я выгляжу как-то не так, было некому.

Уже только в Феодосии, в день отъезда из Крыма, я поняла, что на меня странно смотрят тетеньки в парке. Отец пошел на вокзал за билетами, а меня оставил на скамейке.

У нас был огромный рюкзак и длинная палка, которую мы несли вместе, он за толстый конец, а я за тонкий хвостик. На палке сушилось наше бельишко. Ну и бурнус на голове. С этим сооружением он меня оставил в парке, а там катаются дети на трехколесных велосипедах, у некоторых даже велосипеды в виде лошадей, с головами. И все дети в носочках. Вот после Феодосии я и поехала в лагерь.

Но я сначала расскажу про панаму. Это было удивительное сооружение. Расстегнешь — плоская. Застегнешь на две пуговицы — трехмерная. Все в ней предусмотрено, и козырек сам собой получался, и сзади две дырки для волос. Крахмальная, новенькая.

В автобусе оказалось, что панамы тоже у всех одинаковые, а не только сандалии.

Чемодан ехал отдельно, его забрали при погружении в автобус. Последний раз я его видела на складе. Он там лежал зажатый между другими чемоданами, как на подбор, коричневыми. Заяц был нарисован возле ручки, так что его хорошо было видно, но он оказался вверх ногами. Боты стояли отдельно, вместе с ботами других детей. Вещи, сказали, будут выдавать по надобности. К ботам нас запускали толпой после дождя, все пары были неотличимы друг от друга, дети кидались искать свои по фамилиям, написанным внутри на голенище, а чужими кидали друг в друга. Фонарик и книгу разрешили взять.

Панама потерялась на второй день.

«А ОДНА ДЕВОЧКА...»

Книга, которая у меня была с собой, называлась «Наш брат Никос». Ее написала греческая коммунистка Алки Зеи, действие происходит во времена установления диктатуры. Рассказ идет от лица девочки, в ее семье есть герои, есть соглашатели и есть дети, которым нужно сделать выбор. Я ее, конечно, уже сто раз прочитала до этого, но перечитывала каждый вечер заново. Она мне была близка не только сюжетом. Главная героиня любит греческие мифы, ей их рассказывает дедушка, ученый. Так что это было как бы две книги в одной. Любимые «Легенды и мифы Древней Греции» я с собой не привезла, боялась потерять, это было такое сокровище. Да что ни читай, главное — это отгораживало от других девочек. В комнате — она называлась «палата» — нас было двадцать или тридцать. А так вроде раскрыл книжку и спрятался.

В фонарике сразу кончились батарейки, но мне было важно его иметь при себе, потому что он был из дома. Ну и вообще, это ценная вещь, фонарик, может пригодиться при побеге.

Я готовила побег, но все провалилось еще до первой попытки. Хотя я готовилась очень тщательно. Хлеба в столовой давали мало, а есть хотелось, поэтому удалось накопить всего один кусок. Но все равно это был запас продовольствия. Хлеб засох, то есть это был сухарь, как полагалось. Из еды был еще найденный в лесу гриб, который я засолила в баке для дождевой воды. Соли в столовой было сколько хочешь, не то что хлеба. Гриб был всего один и явно несъедобен, но имел ценность личного и неподотчетного объекта. Никакой сумки не было, целлофановых пакетов тогда в СССР еще не изобрели, так что книгу я решила нести в руках, она была легкая. Все остальное рассовалось по карманам.

Главным было выбраться из лагеря и не попасться «деревенским». Деревенскими пугали во время вечерних рассказов в палате. Все страшные вечерние рассказы начинались: «А одна девочка вышла ночью из корпуса и пошла в лес». — «А как она в лес-то вышла, если ворота закрыты?» — в палате были свои скептики. — «Так за туалетами проволока порвана, ты что! И она пошла, а из-за дерева черная-черная рука. А кто не верит, к тому рука ночью придет».

Вот тут было самое время загородиться книжкой, уж очень страшно. Икар на крыльях, которые для него сделал его отец Дедал, начал летать как птица. И однажды он поднялся высоко, почти к самому солнцу. Они же с отцом тоже бежали из плена.

Зато я запомнила про разорванную проволоку. Ограда действительно была повалена за уборными. Через эту дырку я и решила бежать домой, когда лагерь отправится в поход. На заре, когда из мрака выходит юная Эос. Я думала, вот все уйдут, и я улизну. А оказалось, что дырку заделали, потому что территорию готовили к военной игре «Заря». Вот вам и Эос.

ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

«Заря» — почти то же, что и школьная «Зарница», но в лагере, и заканчивалась межлагерным соревнованием в пионербол. Была такая игра, советский волейбол. А если вы помните «Зарницу», то помните, что это игра в войну,

то ли немцы — русские, то ли красные — белые. К «Заре» готовились как к празднику, устроили субботник, вычистили территорию. Ну и сетку починили, где она провалилась. Я даже почувствовала, как с души спала тяжесть, очень уж было страшно идти одной через лес.

Но «Зарница», наверное, было бы более точным названием. Я эту игру предчувствовала как надвигающуюся бурю. Я представила себя на волейбольной площадке, мяч я все равно не поймаю, и как же все будут смеяться и издеваться. Оставалось только уговорить медсестру дать освобождение. От похода ведь мне удалось открутиться. С помощью вранья. Я сказала, что ко мне должен приехать отец. И меня оставили в корпусе, а все ушли. Я ночевала одна в палате, и это было прекрасно. А днем была тишина, я вырезала красные звезды из бумаги для военного праздника, а в остальном была предоставлена самой себе.

В начале смены нам объявили список «кружков». И я сразу записалась в кружок фотографии. Я уже умела фотографировать, и даже проявляла и печатала с отцом фотографии в ванной при красном свете. Но мне сказали, что в кружок фотографии мне нельзя, потому что он «для мальчиков». Вот тут я лагерь окончательно возненавидела. И косички еще нужно было заплетать. А мне восемь лет, волос — грива, и их расческой не продрать и даже не промыть как следует. Но про волосы я еще потом расскажу.

Потом мне уже было все равно куда идти. И меня записали в вышивание. Ну вышивание так вышивание. Я решила вышить льва. До этого я никогда не вышивала, так что ни гладью, ни крестиком не умела, как другие девочки. Тем более что я была младше всех на два года. А восемь и десять лет — это два разных мира. Меня еще все упрекали, что я не пионерка. На линейках все держат пионерский салют и поднимали по очереди флаг, а я как белая ворона, руки опущены и голова тоже — рассматриваю сандалии, чтобы не видеть собственного позора. Мне казалось, что все на меня смотрят, весь лагерь. И ведь это несмотря на то, что я только что читала о точно такой же фаланге, отдававшей фашистский салют, в моей греческой книжке. Там сестра героини, Мирто, вступает в фашистскую фалангу в школе, потому что можно выступать на праздниках и дают золотые звездочки. И хотя я хотела быть вовсе не Мирто, а Мелиссой — так звали героиню, которая любила мифы, —

но мне все равно было страшно обидно, что всем дают поднимать флаг, а мне нет.

«ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО, ИНАЧЕ ВАШИ ПИСЬМА НЕ ОТПРАВИМ»

И вот я вышила льва — просто по контуру, стежками. Мне он очень понравился, это была моя первая в жизни вышивка. И я ее положила в конверт, чтобы отправить маме. Нам разрешали раз в неделю посылать письмо.

А в конце недели пришла воспитательница и вернула мне моего льва. Сказала: «не позорься». Письма читала лагерная администрация, совершенно открыто, не стесняясь. Даже говорили нам: «Пишите красиво, разборчиво, иначе ваши письма не отправим». Никто мне до этого не объяснял, что чужие письма читать нельзя, но в том, что чувствуешь, ошибиться невозможно, и это чувство было унижением. Хотя воспитательница ласково со мной разговаривала и сказала, что мама расстроится, что я так ужасно вышиваю, и что лучше ей льва не посылать. Так что я хранила неотосланного льва под подушкой. В греческой книжке было чучело барса в витрине, у него были два разных глаза — синий и черный, и подпольщики использовали его для передачи информации. Я чувствовала родство моего льва с тем барсом.

Льва было очень трудно спастись под подушкой от чужих взглядов. Потому что каждое утро дежурные по палате проверяли, как застелены кровати. Нужно было без единой морщины. А там пододеяльник со сбившимся одеялом. В общем, у меня не получалось. И у кого постель была плохо застелена, у того все сдергивали и говорили переделать. У меня всегда сдергивали и все сваливали на пол, даже матрас. Но я не очень расстраивалась, я из-за этого опаздывала на утреннюю зарядку.

На зарядке я, понятно, тоже была хуже всех. Но мне нравился физкультурник. Он пел песни, под которые мы должны были выполнять поклоны и приседания, и странно приседал. И у него ритм был не для приседаний. Потом оказалось, что он всегда был пьяный, уже по утрам. Он особенно любил «Степь да степь кругом» выводить. Ну и мы, как березы под ветром, давай гнуться.

На побудку нас будил горн. «Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок. Вставай, вставай, штанишки надевай». Вставай, дорогая, говорит Еврикля Пенелопе, Одиссей вернулся, и женихов уже нет в живых! Вот о чем я мечтала!

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)